

НАКЛЕЙКИ

Началась эта история в лихие, мутные 90-е, когда каждый выживал и добывал себе пропитание как умел.

Колюня обитал на посёлке вместе с мамкой и бабкой в маленькой квартире двухэтажного щиткового дома, на первом этаже. У Колюни была своя тесная, сквозная комнатка, со стареньким диваном, хлипким столом, тумбочкой и длинным, чёрным по краям зеркалом у двери на стене.

Бабка у Колюни вином самопальным приторговывала, хоть и не всегда удачно. Иногда покупатели привередливые попадались. Тогда бабка, мыча перед зеркалом бравый мотивчик, прикладывала холодные ложки к очередному фингалу и приговаривала:

— Винцо им, вишь, моё не нравится. Нутро у них выворачивает. А нутро гнилое — пошто пьёшь? Компот пей. А то чуть что — и кочевряжатся. То им горлышко оббито, то наклейки все изодраны. Им бы выпить да ещё мою же бутылочку за денежку сдать. Шустрые все больно. Зато от моего винца ещё никто, слава те, Господи, не очоурился. А которые с машин вино брали, красивое да казистое, — сколько их теперь на том свете похмеляется, а? То-то! И пусть не вякают, перетопчутся!

Мамка же Колюнина подрабатывала на рынке — больше её нигде не брали, но чаще дома мыкалась да выпивала. Когда пила одна, Колюне даже нравилось. Тогда мамка накрывала стол в Колюниной комнатке чистой скатертью, ставила не самопальную, бабкину, а настоящую, купленную в магазине и сверкающую, как янтарь или рубин, бутылку и сидела торжественная, будто на празднике. Правда, потом, как выпьет, мамка то затягивала жалостливую песню про девочек, которые зачем-то любят красивых, то вихлялась перед зеркалом, ероша, поднимая себе волосы и тряся головой, то вдруг, разнюнившись, обнимала Колюню и бубнила, что все мужики скоты и козлы.

А бывало, и всё нормально с мамкой после хорошего-то вина, и она, повернув к Колюне бутылку картинкой, говорила:

— Давай читай, тебе уж скоро в первый класс. Вот видишь, буква, на ворота похожа? Это «п.» А это «о», о-о-о, — мамка округло открывала рот. — Дальше «рэ-э-э». А это чего? Ну, Колюнь?

— На грабельки похоже, — всматривался Колюня, попивая чаёк вприкуску с голыми карамельками.

— Эх, точно, Колюнь, это «т». И чего получается? Портвейн получается! И ещё три топорика, три семёрки Учись, пока мамка жива.

(И правда, ещё до школы Колюня за мамкиным вином так почти весь алфавит и выучил. И цифирьки тоже.)

— Но если к вину прикоснёшься, — продолжала мамка, — я тебя вот этими материнскими руками убью, понял?

И мамка колотила себя кулачком в грудь, и в её глазах наворачивались слёзы. А Колюня и не думал прикасаться. Попробовал несколько раз с горлышка на палец и на язык: тьфу, невкусно, и зачем его пьют? Совсем неинтересно Колюне, что в бутылках. А вот что на них — это да.

Вот и мамка говорит: «Я б, может, и не пила бы, Колюнь. А вот как вот такую красоту и не попробовать?»

Раньше мамка сама отмачивала наклейки в воде, аккуратненько отклеивала, сушила на кухонном оконном стекле и складывала в коробку из-под печенья с глазурью, — будет потом что вспомнить. А теперь доверила сохранность наклеек Колюне.

Мамка с бабушкой лишний раз у зеркала не прочь повертеться, а для Колюни самое лучшее место в квартире — диван его продавленный, в острых пружинах под заплатками. Хотя одни называют диван ещё и тахтой, другие — топчаном, а мамкин хахель — шконкой. Так и говорил Колюне, обхватив визжащую мамку за шею: «Иди, малёк, побегай во дворе, мы с мамкой на твоей шконке покумекаем маненько, покувыркаемся». Да как там ни называй, а заберёшься на диван с ногами, будто на тихий, надёжный плот, — и хоть лежи, хоть дремли, хоть слушай всё вокруг, хоть думай чего-нито, клёво.

И диван — непростой, с секретом: места в нём самого огого сколько.

Прибегает как-то внучка бабушкиной подруги, предупредить насчет милиции. Бабушка влетает в комнату к Колюне: «Шухер, кыш с дивану!» Видит Колюня в окно: к их дому два милиционера шагают чинно. Поднимает бабушка верхнюю часть дивана, а там, внутри, уже загодя фуфаечка заносенная раскатана. Мамка несёт бегом полные бутылки вина-самопала, звякает стеклом, укладывает на фуфайку впритирочку. Опять бежит в коридор, открывает разные дверцы, опять мчится с бутылками.

Колюня у окна стоит, за милиционерами смотрит. А они уже у подъезда, сапоги тяжёлые вытирают о скобки железные, и уже отворяется в подъезде дверь. Да только уже и мамка с бабушкой диван закрыли, захлопнули, готово, успели!

Но в дверь стучат, и всё настойчивее, бомбят настырным кулачищем.

— Скидай рубашку, Колюнь, — подскакивает бабушка к Колюне, сдергивая с него рубашку через голову. — Ложись, прям в носках, да к стене лицом, кулёма, к стенке! — бабушка подсовывает Колюне под голову подушку, накидывает на него одеяло, оставив непокрытыми только голову да щуплое плечико. — Замри! Ты спишь, понял, Колюня?

И сама скорей в коридор.

Света в прихожей нет, лампочка давно перегорела, и один милиционер, с грохотом запнувшись о пустое ведро, чертыхается и изрекает сурово: «Сигналы опять на вас поступают: опять вы тут с самопальной водкой химичите!»

— Креста на них нет, у этих с сигналами, — смиренно говорит бабушка, старчески шаркая по полу в тапочках. — Наговорить-то на всякого можно, это и мы могли б, спаси-помилуй!

В коридоре и на кухне милиционеры лезут во все щели; слышно, как дробно дзынькает стекло и бабушка говорит: «Да пустые всё бутылки-то. Может, и их заберёте? Давайте, забирайте, отбирайте последнее. Сдавать-то сами будете? А то я подскажу, где».

Мамка тоже словечко вставила, но лучше б рта не открывала. Милиционеры сразу на неё перекинулись, оскелы: «А вы, гражданочка, вообще б молчали. А то только безработничаете да тунеядством занимаетесь. Давно протокол на вас не составляли?»

— Может, где в комнате? — озабоченно советуются меж собой милиционеры. — Пойдём глянем.

— Тише вы ботайте, — шикает бабушка на проверяющих, когда те входят в Колюнину комнату, — мальчонку разбудите. Вон, сморило. От всех вас заболеть можно!

И проверяющие, постояв, на цыпочках идут сразу в соседнюю, мамкину комнату, разговаривают меж собой вполголоса. Возвращаются на кухню, но там снова гремят, страшат мамку с бабкой и уходят.

Опять мамка с бабкой кидаются к дивану. Некоторые бутылки подтекли, быстро их вынимают, протирают и бабка стоит над открытым диваном, замызганным веником запахи разгоняет: ну как милиционеры вернутся? Все поглядывают с опаской в окно, но милиционеры уже далеко. Фу ты, пронесло, можно бутылки на старые тайные места возвращать.

Вечерами к ним частенько захаживал в гости мамкин хахель с дружками, иногда и с другими тётями, и гости, набившись в кухне, галдели до самой ночи. Соседи стучали в потолок и стены, а один из гостей в ответ стучал по батарее сковородкой и орал, что всем бошки посибают, век воли не видать. Соседям это не нравилось, а ещё они боялись пожара из-за пьяных мамкиных дружков. Соседи подходили к двери, грозили разобратся или вызвать милицию. Тогда мамкины гости, задвинув дружка буяна, предлагали выпить и замириться. И опять разговоры и ругань, на всю ночь.

И даже если гости просто сидели на кухне и смолили свои бычки и чинарики, которые потом складывали на подоконник или в стеклянную банку, — никак не уснёт Колюня: табачищем из кухни так прёт, что и под одеялом нос и глаза дерёт. И Колюня уже днём добирал на диване недоспанное, спешить ему было некуда.

Случалось, мамкин хахель оставался у них ночевать. Тогда бабка совсем уходила на ночь, а мамка и хахель спали в мамкиной комнате, тоже маленькой. Через стенку Колюня слышал, как они реготали, шептались, потом боролись так, что мамка охала и вскрикивала от боли, — и пугался за мамку.

Утром хахель, босой, в одних трусах, стоял на кухне около умывальника и из-под татуированного плеча жадно глотал бьющую струёй холодную воду. Колюня же подходил к двери мамкиной комнаты. Но не слышно мамкиного дыхания.

— Мамк, а мамк, — зовёт Колюня с надеждой и страхом, — ты встать-то будешь?

Мамка — ни гу-гу.

— Вставай, мамк, тебе на работу надо, А то опять вытурят, — канючит Колюня. Мамке и правда надо ехать на автобусе на работу, на рынок, торговать, чем дадут, или убирать мусор. Но Колюня просто боится не услышать мамкин голос и хнычет, готовый зареветь:

— Слышь, мамк?

И мамка, наконец, откликается, сладко зевая и потягиваясь, скрипя кроватью:

— Не пойду я сегодня, Колюнь, мне полежать надо. Наверно, отравилась чем. А ты там, на кухне поешь.

Поешь! Скажет тоже. Конечно, мамка, как снова работать стала, еду домой приносит, и картошку, и даже фрукты, правда побитые и с гнильцой. Но всё равно, если гниль-то вырезать, там ещё много остаётся. Но гостей её вместе с хахелем разве прокормишь? Всё зараз сметут, саранча да и только.

Хорошо, соседи из подъезда вспомнят о Колюне вовремя, зовут к себе, — особенно после мамкиных с гостями гулянок — сажают телевизор смотреть и угощают всяким вкусным. А ещё и с собой в пакет кладут еду попроще. Да разные вещи, хоть и не новые, суют в руки — варежки, шарф, прочую одежду, игрушки (девчачьи Колюня тут же откладывал в сторону, возвращал) и всякую всячину: потрёпанные книжечки, слегка источенные карандаши, фломастеры, блокнотики и альбомчики с каракулями на первых листах; даже настоящую лупу, с длинной пластмассовой ручкой и со слегка поцарапанным выпуклым стёклышком.

Мамка принесенному не радовалась, заводилась: «Не нужны нам их подачки, понял? Всё завтра ж выкину!» Но ничего не выкидывала, а что было съестное, на очередной пьянке подъедали её же шумные гости.

Болтаться на улице Колюне неохота, да и друзей среди мальчишек у него нет: больно уж подраться любят, а Колюне всё это как-то не очень.

И потому оставался у Колюни только один друг — старый дворовый кот Пушок. Хотя был он скорее не пушистый, а лохматый, взъерошенный и нечёсаный, и жил то в подвалах, то у кого-нибудь из соседей. Характер у Пушка неторопливый и обстоятельный. Если, благодаря соседям, было у Колюни что подходящее для кошачьего корма, Колюня подкарауливал Пушка в подъезде, подхватывал его под мышки и, притащив к себе, выкладывал перед ним свежемороженную кильку. Пушок, съев из вежливости несколько рыбинок и потерпев, пока его вдоволь потискают, вырывался, шёл к двери и, подняв круглую морду, нетерпеливо мяукал: мол, у меня и своих дел полно. И Колюня прощался с ним до следующего раза.

Телевизора и даже радио у них в квартире давно уже не было. Поэтому развлечение Колюня устраивал себе сам: раскладывал на диване и на столе — каждый раз по-разному, в разном порядке, красивые винные наклейки из своей коллекции, с улыбающимися тётями, с морскими приборами, осенними садами, цветами, букетами, гроздьями и плодами, — и разглядывал свои богатства и так просто, и сквозь поцарапанную лупу. И сколько ни гляди — всё смотрел бы и смотрел.

Особенно поразила Колюню наклейка на новой бутылке, которую мамка купила на последние гроши, «потому что тут с тоски сдохнуть можно!» «Алькасар» называется, плодое вино. Ночь, остров, на острове — высокая крепость и башни.

— Мамк, а это чего?

— Тюряга, наверно.

— А у папки такая?

— Ага, такая, ещё лучше! — Гыкает мамка, а потом поджимает намалёванные губы, хмурится. — Только ты мне его не вспоминай даже, ясно?

Колюне неясно, но от картинки взгляд не оторвать, ни на что не похожа.

И захотелось Колюне срисовать наклейку эту с крепостью-тюрьмой, как у папки, на такой же листок. Достал карандаши с фломастерами, которые соседи дали, старался, старался, а вышла каляка-маляка; опять взялся — опять ерунда, а никакая не крепость. Чуть не расплакался Колюня. Полежит на диване — и опять рисовать. Не сразу дошло до него: с наскоку не получится, поспеть-покорпеть придётся.

Нарезал листов про запас, стал рисовать без спешки. На одном листке зубчики у крепости получились, а сама крепость и остров — нет. На другом — только башенки вышли. Скомкает, отбросит. Потом развернёт скомканное, смотрит, сравнивает. И так каждый раз, изо дня в день, совсем извелся.

Но и везло Колюне тоже. Однажды рисовал, опершись на подоконник и подложив под рисунок сетку от комаров. И на бумаге отпечаток от карандашей получился в виде сеточки, будто крохотные кирпичики друг к другу приставлены. Колюня сразу смекнул: прежде, чем крепость и башенки закрашивать, надо будет эту сетку подложить, да и другие места можно сеточкой украсить — и быстро, и затейливо.

Или: точил карандаши, развёз нечаянно по бумаге цветные крошки — и красивый след получился, будто петушинный хвост или закат. Получилось-то случайно, но ведь можно и нарочно делать.

Много времени и бумаги потратил Колюня на крепость-тюрьму и, в конце концов, нарисованное пришлось ему по душе. Это была первая Колюнина наклейка, им самим нарисованная и во многом не похожая

на образце. На Колюниной наклейке и остров повыше, и башенки у крепости другие, и цвета иные, ещё вокруг крепости колючая проволока, и у самого берега притаился, готовый отчалить, кораблик под белым парусом.

Сидит Колюня, любит свою наклейку, думает, как назвать.

Бабка увидела, покосилась недоверчиво: «Эх ты, аяй!»

Потом ушла, а вернувшись, положила на краешек стола маленькую шоколадку, а прямо перед носом Колюни — денежку, не нашу, с иностранными буквами: «Нарисуй-ка такую.»

Колюня не будь дурак, вначале шоколадку раздербанил, затем уж рисовать стал.

Затем пришла мамка и закричала на бабушку:

— Ты совсем долбанулась? У него отец в тюрьму загремел, а мы и Колюньчика туда же, да?

— Да я чтоб рисовать учился, по делу, а не просто, — трусливо отпиралась бабушка, забирая денежку. — И не ори, малюток не сажают, все знают.

Мамка спросила у Колюни:

— А кораблик зачем?

— Для папки.

— Чтоб сбёт?

— Ага.

— Понятно... Не спонадобится ему твой кораблик, Колюнь, — говорит мамка, задумчиво вертя картинку. — Давно на поселение перевели, там уж другой бабе ребёночка заделал, с голодухи-то, с ними живёт.

Отца Колюня совсем не помнит, но всё равно жалко.

— И он к нам не приедет?

— Дай бы Бог, не приехал. А то прибьёт мамку-то.

— А за что?

— Да кто ж его знает? Они, мужики, чумовые, — говорит мамка уважительно, — придумает, за что.

Мамкин же хахель тронул Колюнину наклейку своей лапой в перстнях-наколках, подвинул к себе:

— Ничтяк, пацан. Ещё одну такую сообрази. А ты, бабушка, — слышь-нет? — на пузыри их наклей, дружанов угощу. Да не ной ты, накинута малость, а то удавишься.

Тут бабушка сразу засуетилась: «Рисуй, чего взрослые говорят. Чиколладку-то слопал!»

Снова нарисовать — чего проще? Только Колюня для разнообразия на второй наклейке парус сделал голубым, под цвет моря.

— Не, малёк, голубого нам не надо! — Сказал мамкин хахель. Тогда Колюня покрасил парус чёрным — чтоб ночью его с острова не заметно было — и это хахелю понравилось. А бабушка, сварив клей из картошки, через полиэтиленовый пакет прижала наклейки к бутылкам и разгладила. Красота!

Потом взялся Колюня за ягодки-цветочки. И было полно наклеек, с которых можно срисовать. Целыми днями рисуй — не перерисуешь. А здорово: наметишь обыкновенный кружок, обводишь его где нужно — и уже проклёвывается, наливаются тугая, спелая ягодка, прямо хоть в рот клади. И от восторга Колюня аж бежит в туалет, по маленькому, и опять — скорей за стол, коленями на диван, рисовать, рисовать, следующие ягодки. Но вот с целой гроздью — хоть с рябиной, хоть с виноградом, — у Колюни никак не получается: каждая ягодка — живая, а все вместе — чужие. Колюня комкал нарисованное, рисовал заново — ну не получается гроздь, хоть тресни! Несколько дней потратил, пока догадался, заметил: самые светлые пятнышки, от света которые, по одну сторону должны быть.

С цветами у Колюня тоже, хоть с заминками, но продвигается. Одно странно: яблоневый цвет и белые розы — они же белые, а на наклейках у них по краешку и желтенькое, и розовое, и голубое. Красиво — и непонятно. Mamka с бабкой не знают, а смотришь на белый лист бумаги и как его ни крути — белый он и есть белый.

Помог случай: мамка оставила пустой кулёк из-под семечек на подоконнике. Солнце из-за тучки выглянуло, осветило кулёк — и откуда что взялось на кульке, все цвета, как на радуге. Обрадовался Колюня: значит, правда, не придумано, и он так может, другими цветами по краешку белого, только по чуть-чуть, тоненько, и красиво будет.

Едва освоившись с карандашами и фломастерами, взялся Колюня чудить на своих наклейках. Началось с нарисованного ёжика, вроде мультяшного, с сучковатой палкой-гросточкой, с грибами-ягодами на спине. Поморщился Колюня да и стёр дары природы, а изобразил вместо них пустую бутылку, пронзённую иголками. И под кустами валялись бутылки, ёжик их собирал.

— Ты чё начудил, чудо! — заворчала бабка, увидев. — Разве иголки бутылку проткнут? Делать тебе нечего, вот чего. Стирай, пока никто не видел.

— Неа! — смеётся Колюня, мотая головой.

— Ну и глупый, всех клиентов мне отвадишь!

Плохо знала бабка клиентов: им-то Колюнин ёжик приглянулся при разливе, оценили.

Другой раз листает Колюня дома взятую у соседей книгу: о, уссурийский тигр! И представляет Колюня, как под переливчато-полосатой шерстью зверя перекачиваются могучие мышцы, как от влажных ноздрей поднимается морозный пар, как тяжёлые лапы по-кошачьи мягко проваливаются в глубокий скрипучий снег. Колюня грозно рычит, и так громко, что мамка с кухни прибегают: «Ты чего, Колюнь?» — «Да ничего, мамк, иди, иди!» И рыча уже потише, рисует тигра немного иначе, чем в книжке: рисует его по-хозяйски выходящим из дремучей тайги. А морда у зверя — не как у книжного тигра, а как у Пушка.

Положил Колюня наклейку рядом с блюдцем, поймал Пушка в подъезде, взял легонько за шкурку, ткнул в картинку: «Смотри, смотри, это ж ты!» Но Пушок себя не узнал, вырвался и убежал.

А некоторых птиц Колюня и без книжек, по памяти бы нарисовал. Вон они, за окном. На фанерной кормушке, что на рябине, воробьи толкаются; вдоль по тропинке, отпугивая голубей, прогуливается вразвалку старая седая ворона: ждёт, не пройдет ли с мусорным ведром какая хозяйка, не обронит ли что съедобное. А самые неугомонные — синички. Те и на рябине покувыркаются, попробуют подмороженные ягоды, и хлеб, пшено на кормушке поклюют, и на карниз Колюниного окна заберутся, заглядывают настороженно, боком, в комнату, стучат клювиками по стеклу, в гости просят, а подойдёшь ближе — фьют и нету, уморительные.

Но иная интересная живность только в книжках и попадает. Рисует Колюня, рисует, не утерпит, поманит мамку из кухни: «Мамк, иди чё покажу!» Подвинет ближе ночную лампу, закроет нарисованное ладошками, потом медленно-медленно их раздвигает. А под ладошками трепещут крохотными крылышками изумительные маленькие птички, колибри, тычутся клювиками-хоботками в бутоны розовых цветов, а между ними кружатся хороводом бабочки — и не догадаешься, что все они лишь нарисованы и раскрашены фломастерами.

Мамка, боясь спугнуть перегаром бабочек и диковинных пташек, дышит тихо, трётся о Колюнино ухо щекой и приговаривает:

— Ой, Колюня, Колюня, что же ты с мамкой-то делаешь...

Так и затянули Колюню наклейки. Другие дети как дети, домой с улицы ремнём не загонишь. А Колюня дома сиднем сидит. Ему говорят: иди-ка на улицу, бледный, как сперехета! Высунется наружу — и назад, стол к дивану подвинет, новую наклейку рисует.

Раньше, как приходили к мамке гости, затаивался Колюня, что заяц под кустом, а теперь нет, позовут — смело идёт на кухню, знает, о чём пьяную речь заведут. Иногда велели перерисовать на наклейку татуировку. Не нравятся Колюне наколки: синюшные, мертвяком отдаёт. Но рисует, куда деваться. Однако гости чаще называли первое, что взбрѣдет в голову: «Орла давай, вот такого», — и показывают, растопырив исколотые пальцы. Орла так орла. Со змеёй? Ладно, и змею нарисует. Вот змея — Колюня, сидя за столом с карандашами, шипит, как шипит, скользя и извиваясь, змея, подползает к орлиному гнезду, но зоркий орѣл, взмахнув широкими крыльями и вытянув когтистые лапы, падает на неё сверху.

А можно и вот так — Колюня кладѣт рядом другой отрезок бумаги: змея оплела тугими кольцами тело и одну лапу орла, тянет к его шее ядовитую пасть с жалом раздвоенным, но орѣл, горделиво выгнув шею, уже взметнул над змеёй свой разящий клюв.

— Ну Колюнь, ты, если что, в зоне не пропадѣшь, — нахваливает компашка. — Такую б наколочку!

А осенью Колюня первый раз пошѣл в школу. Накануне поздно вечером мамка где-то достала охапку георгинов, да так много, что все цветы не уместились в большую банку с водой, и мамка отобрала самые пышные. И когда Колюня шѣл с расфуфыренной мамкой в школу, букет у него был точно не хуже, чем у других первоклашек. Конечно, мамка на дорожку капельку махнула за воротник, сказала, нюхнув палец: «День-то у тебя, Колюнь, какой, сам понимаешь!»

На линейке у школы мамку и не развезло ничуточки, стояла, как штык, но всё равно подошла к мамке сердитая тѣтя, стала её ругать. И мамка пошла, только не к другим родителям и не домой, а встала недалеко около кустов шиповника, и когда Колюня оглядывался на неё, она поднимала ладошку, бойко шевеля пальцами, и улыбалась размазанным ртом, и Колюня опасался: не психанула б, не отмочила б чего. (И мамка после этого боялась в школу даже нос показать, отлынивала). В общем, не понравилась Колюне первая линейка в школе, нисколько.

И школьный медпункт, где тѣтя доктор в толстых очках заглядывала Колюне в рот большими стрекозьими глазами, тыкала ему в грудь холодной щекотной бляшкой, поворачивала его и боком и спиной, приговаривая: «Н-да, Коля, Коля...» — лучше б стороной обходить. Правда, напоследок Колюня получил пузырьѣк с жѣлтыми кисленькими дробинками драже, который, зажав в кулаке, прикольно, как погремушку, встряхивать. Но прийти сюда ещё раз, как велела тѣтя доктор, Колюне ну никак не хотелось.

Да и уж больно народу в школе много, и все торопыги, бегом, бегом — на урок ли, с урока ли — даже звонок громкий, дребезжащий, тревожный, как на пожар. И хотя Колюня оказался старше своих одноклассников почти на год, уступал он им всем и в беготне, и в ловкости, и только успевал уворачиваться от их зацепов, когда они носились по коридору на перемене. А ещё обиднее, эти же мальчишки одноклассники, даже не отдышавшись от перемены, на уроке соображали быстро: чуть вопрос от учительки — руки тянут, а Колюня прилипал грудью к парте, замирал мышонком, лишь бы не заметили, забыли о нём.

Зато в школьной столовке наесться на весь день можно, только б до обеда дотерпеть. И ещё в библиотеке книжки есть с цветными картинками.

Другие-то родители и на работу идут, и детей в школу ведут, а Колюня и сам-то с трудом просыпался, да пока до мамки добудится, да при-

берётся после вчерашних гостей, да позавтракает сам себе соорудит из чего остальное — разве успеет? Часто опаздывал.

И Галина Сергеевна, их учителька, повела его к завучихе, сказала: «Вот наш Коля, всё время у нас опаздывает. Мальчик тихий, не хулиганистый. Правда, немножко заторможен. Наверно, не высыпается. И мне кажется, приходит в школу голодный, хотя удивляться нечему. Не хочется при ребенке говорить, но семья на весь посёлок гремит. Скажи, Коля, еда-то хоть у вас дома есть, или бывает, что и нет?»

На что Колюня отвечал сбивчиво: «У нас всё есть. И ещё Пушок есть, и наклейки есть.»

— Собираешь спичечные наклейки, этикетки? — спросила завучиха. — Это неплохо. Хоть какое-то увлечение. Только с огнём осторожнее. Не стал Колюня уточнять, что наклейки-то — винные.

Отучились с неделю, учителька пересадила первоклассников, и соседкой по парте Колюни стала Кузя, Верка Кузьмина, та ещё командирша. Как с утра зарядку в классе проводить, учителька Кузю вызывает. Та станет перед классом и давай командовать: «Наклоны, на четыре счёта. К правой ноге — и раз-два-три-четыре! К левой...» Народ ещё не прочухался, из-за парт спросонья вываливается, кто в лес, кто по дрова, а Кузя знай всё считает, сама упражнения делает, только белые банты на голове пропеллерами летают. И хоть бы раз со счёту сбилась — ни разу!

Ну и стала Кузя в первый же день Колюню опекать и допекать. То, видишь ли, сейчас урок начнётся, а он ещё и тетрадь не достал, то сидит он скособочившись и сколиоз у него будет, как у деда столетнего; то он тараканов надумал разводить — хлебную корку в парту положил. Колюня затравленно огрызался и мечтал об одном: скорее бы убралась эта Кузя куда подальше.

Но на следующий день Кузю как подменили. В первую же перемену развернула на парте перед Колюней пакет с пирогами: «Маманя напекла. Вот эти — с луком, яйцом, вот эти с картошкой, а эти, светленькие, с капустой. Бери давай. Ну Колюнь, мне лопнуть, что ли? Меня и так жирной дразнят. Бери, говорю!»

Колюня поотнекивался для виду, но слопал все пироги, аж в горле застряло. Пришлось идти к умывальнику, запивать.

А потом и совсем перестал Колюня жалеть, что его с девчонкой посадили: и припасами Кузя поделится, и подскажет, и списать даст, и совсем не вредина. И даже стал Колюня звать её не Кузей, как другие мальчишки, а просто Веркой.

Да и у самой Верки интерес к Колюниной персоне прорезался, как увидела она букетик на клочке бумаги, который Колюня за минуту шариковой ручкой набросал. У Верки даже веснушки покраснели, так она удивилась. Вырезала Верка листок бумаги с открытку, достала свои фломастеры, попросила с придыханием: «А мне нарисуешь такие же, вот сюда?» Да запросто! Колюня вмиг нарисовал, раскрасил со множеством оттенков. Верка дар речи потеряла, молча показала девчонкам на соседних партах, те ахнули. А Колюню как отпустило: не решался он в школе рисовать, теперь же все наперебой карандаши суют, фломастеры, и он ими, как фокусник волшебной палочкой, что угодно проявляет на бумаге, будто оно там застенчиво скрывалось, как прячутся чудесные цветы среди травы и зарослей, а и нужно-то всего лишь карандашами, где едва заметил эту красоту, прикоснуться.

Все удивлялись Колюниным рисункам, а он сам не удивлялся. Другие-то мальчишки на велике без рук катаются и не падают, или ногами и головой мяч по сто раз чеканят, или так ныряют, что кажется, утонули, и все вокруг их кличут, а они далеко-далеко выныривают. Ну а он только и умеет, что рисовать целыми днями, а многое другое у него вообще не получается. Чего ж гордиться, нос задирать?

Да и не всё хотелось Колюне рисовать. Мальчишки тоже подсовывали ему небольшие листки и картинки всяких машин, чтоб перерисовал. И автомобили выходили из-под Колюниной руки очень похожие, но или очень маленькие, или рисовал их Колюня вдоль короткой стороны. Мальчишкам так не нравилось, а Колюня не хотел, да, наверно, и не мог бы, рисовать иначе. Ведь если рисовать автомобиль на наклейке вдоль длинной стороны — это значит, что бутылка не стоит, а лежит. А это уж полная глупость. Бутылки ведь ставят, а не кладут. Но разве объяснишь это одноклассникам?

И ещё одна заковыка: дают Колюне альбомный лист бумаги, а он видит посреди листа лишь привычный, размером с наклейку, вертикальный прямоугольник и всё, что надо, размещает в этом прямоугольнике. А всё остальное пространство заполнял Колюня абы как, спустя рукава, будто другой человек рисовал.

Таким же своим манером стал Колюня рисовать на уроке рисования сокола пустельгу, которого видел по телику у соседей и в книжке. Маленько начал рисовать. Подошла учителька, которая от восторженных девочек уже была наслышана о Колюниной способности, и говорит: «А зачем так мелко рисуешь, Коля? Рисуй во весь лист, у тебя ж здорово получается».

И взялся Колюня рисовать крупно — и контур, и перья на крыльях, и мягкий пух на горле сокола, растушевал клочком бумаги тёмные когти и клюв, но самое главное, самое-самое — глаза, вернее, один глаз, поскольку сокол смотрел искоса одним глазом, — оставил на потом. И когда, как должно, выделил этот глаз, протёр ластиком пятнышко-светлячок и обвёл зрачок чёрным — сам поразился: сокол так и уставился на него.

Перемена уже началась, отодвинул Колюня своего сокола в одну сторону, затем в другую, на край парты — а сокол опять на него смотрит. Мальчишки бесились, носясь между партами, уронили Колюнин альбом на пол. Но сокол даже снизу, сквозь отпечаток чьей-то кедины, всё равно глядел прямо в глаза Колюне холодным и насмешливым своим взглядом, будто следил за ним. Вот привязался...

Нет, решил для себя Колюня, лучше всё-таки уж маленьких рисовать, как на наклейках: маленькие так не смотрят.

Вышла и подмога Колюниному рисованию: Верка принесла ему краски старшего брата — перепачканные друг дружкой, не сразу поймешь, где какой цвет — зато целую коробку. От себя же подарила коробку с гуашью шести цветов и две разные кисточки с названием «белка» на ручках: у одной ворс широкий, как лопаточка, а у другой, пухленькой, кончик остренький. А соседи нашли для Колюни ещё и краски в железной коробке: «медовые», блестящие.

Вернулся Колюня с новогоднего утренника в школе под впечатлением и от подарка со сладостями, и от высокой сверкающей ёлки в спортзале, и от Снегурочки, которая держала Колюню за руку, водя хоровод, и звала Деда Мороза. Конечно, нарисовал на наклейке нарядную ёлку, снег с разбросанной мандариновой кожурой и хотел нарисовать румяную красавицу Снегурочку. Но вспомнил, как шептались девчонки: «Снегурочка — это Любка из старшего класса, а Дед Мороз — её папка, он на бульдозере работает». И не стал Колюня Снегурочку изображать. Из-за её отца. У других-то папки и на бульдозере могут, и дедморозом вокруг ёлки, а его папка и нос не кажет. Зато нарисовал на ёлке золотую цепь, и по этой цепи ходит кот учёный. Краешек левого уха у кота откушен, память о былых сражениях. Бабка сразу Пушкина нарисованного признала:

— Вон чего напридумал. У тебя уже Пушок не по подвалам, а по ёлкам лазит? Аяй!

Колюня не свихтается, хихикает, но и его самого из-за такой наклейки подняла на резех мамкины дружки: «Ты у нас, Колюнь, дитёнок, что ли? Чего за ёлки-палки?»

А нарисовал Колюня следом, в шутку, снеговика в драной, с ушами вразлёт, шапчонке, только не с метлой, а с бутылкой; написал сверху синими буквами-крендельками «Снеговик», внизу кружочек поставил и в нём «40°C», как положено, да ещё вспомнил, как учителька велела записывать температуру зимой, и получилось «-40°C», — и алкаши в нетерпенье ладони потирают: «О, снеговичок, давай. Вон какой колотун на дворе. Клин клином!»

И пойми ты этих выпивох.

Зима догуливала последние свои денёчки, вот и Колюня надумал погулять, вместе с другими детьми скатывался с крыши сарайки в сугроб. Забрался на самый верх, оглянулся, щурясь от солнца, по сторонам — и рот разинул. Не счесть, сколько раз оббежал Колюня двор, и вдоль и поперёк. А тут не узнал: обшарпанный угол дома стал ярко-оранжевым, от деревьев тянутся горбатые фиолетовые тени.

Будто увидел впервые, вдруг.

Когда в соседской квартире у кошки Мульки родились котята, детям со двора разрешили зайти, посмотреть, и гости, сняв у порога разномастную, потрёпанную обувь, крадучись подходили к картонной коробке, где на сухой и уютной мягкой тряпице рядком и вповалку почивали новорожденные (как весело сказала хозяйка, возможно, и от Пушка тоже). Кошки не было рядом, и ребятам позволили взять котят в руки. И Колюня, держа на ладони зябкое, дрожащее тельцо с зевающей мордочкой, с зажмуренными глазками, осторожно гладил спинку новорожденного и щекотал ему брюшко, лобик, надеясь, что тот откроет глаза и посмотрит на него — то-то удивится! Но крошечное, беспомощное существо тоненько попискивало и ещё больше жмурилось — наверно, не хотело видеть ничего, кроме сладких своих снов.

А прошло чуток времени, у котёнка и имени-то ещё нет, едва на лапках стоит, а глазёнки от любопытства круглые, блестят монетками, жадно на всё таращатся, не моргают.

Вот так и у Колюни словно открылись глаза, как у котят из картонной коробки. Посмотри вокруг — и увидишь такое, что придумывать ничего не надо, всё способно удивить и достойно наклеек.

Обычное бельё на нятянутой верёвке — совсем не обычное: чёрные трусы — как пиратское знамя, цветные женские рейтузы и всякие рубашонки-распашонки — будто флаги неведомых стран. Столкнули Колюню вниз, чтоб не зевал, он опять на сарайку взобрался, посмотрел ещё разок и скорей-скорей домой, рисовать.

Вот хоть бы поленница под корочкой льда около чьего-то домика. Дрова и есть дрова, а и они все разные, и цветом, и оттенками среза или коры, и узорами колец, и трещины на них есть грубые, как расщелины, а есть словно паутинка. Стоит Колюня, запоминает, пока не подходит к окну подозрительная хозяйка: что это тут посторонний мальчик забыл?

А всего-то и надо: маленький блокнотик из бумаги сшить, да с карандашиком в кармане носить, — для быстрых намёток, чтоб в голове не держать.

Даже кресты могильные, и те перекачывали на Колюнину наклейку. Невыдуманные, всамделишные. Дело было так. На старом посёлке, что километрах в трёх от нынешнего, есть кладбище с церковью. И в вербное воскресенье бабка и мамка, прихватив Колюню, отправились туда. По дороге наломали в овражке вербы, и Колюня шёл довольный, с пучком тонких багровых веточек, осторожно поглаживая их гладкие и пушистые, как хвостики крольчат, кисточки.

Воздух в церкви золотистый, пахнет незнакомо, но приятно. Очувтив-

шпись перед иконой, где когтистой змеей собрался проглотить маленького полуголого человечка, Колюня спросил:

— Баб, а это какой краской нарисовали? Из золота?

Бабка незаметно, но больно щипнула Колюню за плечо и, придав лицу самое благостное выражение, пригрозила:

— Я тебе дам краску! Ты у меня дома такую краску получишь...

Колюня потоптался, вышел тихонько из храма, прошёл дальше, за ворота. Стал поодаль, посмотреть как всё снаружи выглядит. Слегка нахмуренное небо расчертили крикливыми вспышками суматошные птицы, и высокий, с покосившимся купольным крестом и забранными фанерой маленькими оконцами наверху, храм кажется загадочным древним замком. А у самой ограды теснятся могильные памятники: каменные плиты-надгробия, островерхие обелиски со звездочками, но более всего числом — чёрные смоляные кресты, пугающие и манящие страшной немой тайной. Такие черные, что придется стырить у мамки на время её черный карандаш для бровей, иначе так не раскрасишь.

Мамка, увидев новую наклейку, взбеленилась:

— Зачем крест на церкви скособочил? И кресты чёрные зачем?

— Так там так...

— Ну и что — так? Выкинь или порви!

— Церкву рвать нельзя, — встряла бабка.

— Ну пусть кресты эти чёрные замалует, ещё накличет чего. Итак тоска собачья...

— У тебя ветер в юбке, так думаешь, вечно скакать будешь? — усмехнулась бабка. — Никто не отвертится. И нас, придёт срок, на погост отнесут. Вот уж где погостим, так погостим! Оставь всё, Колюнь.

Но мамка на этот раз послушалась бабку, отхватила ножницами низ наклейки, правда, уголок с одним крестом остался.

Вечером слышен Колюне говор из кухни: «Не, такую наклейку только на поминках хорошо, — тьфу, тьфу, не накаркать, а так — нет!» Однако утром и эту наклейку Колюня обнаружил на одной из выпитых гостями бутылоч.

А ещё занимательно-завлекательное — это тени. Они ведь только притворяются сонными, квёлыми, будто им и дела ни до чего нет, будто упали и умерли, а на самом деле живые, хитрющие, и у каждой характер, повадки свои. И Колюня стал охотником за тенями. Наблюдал, высматривал, как прячутся тени от солнца за домами, в нишах чердаков; как цепляются за столбы и деревья, как ластанья, словно привязанные и ручные, к одним предметам, телесным своим хозяевам, и, хищно затаиваясь, подкрадываются к другим; как то покорно стелются, то ощериваются острыми зубьями; как меняют цвет и оттенки подобно хамелеонам, как опутывают скамейку ленивой сетью от голых ветвей липы и сплетаются в ажурные кружева, как наливаются чугуном весом или, наоборот, в один миг растворяются летучей дымкой — и тут уж не зевай! И ложатся самые причудливые тени в торопливый Колюнин блокнотик, чтоб потом перебраться на наклейки. Но наклейки эти вряд ли бы глянулись мамкиной компании, не стоило даже показывать, и Колюня сразу прятал их подальше, в запасной пакет.

Правда, люди редко появлялись на Колюниных наклейках. Разве что блеклыми пятнышками — рыбаки в лодках, лодки ж не могут плыть по реке сами по себе. Конечно, и прежде тоже рисовал Колюня и одноглазых пиратов с попугаями, и древних воинов с мечами, и сказочных или мультяшных героев. Была и составная наклейка: по бокам — круглые золотые погончики, сверху — высокая шапка над румяным усатым лицом, а спереди — мундир, на ремне которого написано «Гусарская». А еще были наклейки с продолжением: как один инопланетянин отбился от своей летающей тарелки и подружился с земными алкашами. Но

хотя часто с настоящих, покупных винных наклеек взирали открытые, добрые, симпатичные (в основном, женские) лица — рисовать просто людей Колюне было неинтересно. И не хотелось. Люди словно нарочно всё собой загораживали, и Колюня старался их не замечать. И так было до поры до времени.

Если б когда-нибудь Колюня вспоминал о своих детских рисунках, то есть о своих наклейках, обязательно вспомнил бы о первом своём заказе со стороны.

Возвращался он домой, а на скамеечке его поджидала незнакомая бабушка, сказала: «Ты ведь Коля?» И голосом потише: «Ты ведь наклейки рисуешь, да? Тогда у меня к тебе дело есть. Время будет, зайди ко мне, ладно?» Она назвала адрес, описав дорогу; с трудом поднялась, опираясь на клюшку, и тяжело пошла дальше.

Слово «дело» прозвучало так разговорчески и многозначительно, что Колюня заволновался, хоть и догадался, о чём речь. Побыв немного у себя, он не утерпел и отправился по названному адресу.

Дом на краю нашёл не сразу. Простенькие наличники с ромбиками и треугольниками; меж шершавых заборных досок протискиваются на гнутых стебельках-перископах любопытные жёлтые нарциссы, в углу забора уже расцветает, устремляясь вверх воздушными, нежно-цветочными конусами, раскидистая сирень.

Дом как дом. Однако, войдя внутрь, Колюня оробел: пришёл ведь не в гости, а для разговора со взрослой тётей. Но в комнате уютно, мирно тикали ходики; из-под кровати выкатился котенок, хвост сабелькой, осторожно обнюхал Колюнину ногу и опoremтью кинулся к матери, ухаживавшей кошке. Та возлежала около тумбочки, в барственной задумчивости помахивая пушистым хвостом. И Колюне сразу стало спокойнее. Хозяйка подставила ему стул к столу, Колюня сел, от горячего отказался, зато свежие и мягкие мятные пряники уминал с удовольствием, запивая мутным от густого чернослива компотом. А ещё прямо перед его глазами котёнок, будто хлопая в маленькие когтистые ладошки, всё пытался поймать мамкин хвост или хотя бы прижать его к полу, и никак ему это не удавалось. Колюня едва сдерживался, чтоб не прыснуть со смеху, даже поперхнулся компотом, и, не задумываясь, безо всяких усилий запомнил и окрас кошки с котёнком, белый с рыжими и чёрными пятнами, и их игривые позы. Прикольная была б наклейка.

А хозяйка меж тем сказала:

— У меня, Коля, юбилей скоро. Родня будет, подружки, дочки с внуками приедут. Всё припасено, даже своё вино есть, смородиновая наливочка. Муж покойный нахвалявал, а уж он знал толк. И подружкам нравится. А вот знаешь, ни разу не видела настоящей бутылки, чтоб на картинке васильки были. А я полевые цветы страсть как люблю, а пуще всех — васильки, с детства. Вон там — пошире отдернув тюлевую занавеску, женщина указала наискосок в окно — где шпалы в штабелях лежат, видишь? Там раньше поле было, рожь росла. И васильки. Как война началась, и парни, и мужики, и отец тоже — все на фронт. И всю работу, считай, бабы да девки тянули: и лес валили, и хлеб убирали. Я тогда ещё пигалица была, только в школу пошла, да ещё за маленьким братом смотрела. А все взрослым помогали: и голицы для фронта шили, и на поле колоски после старших добирали. А мы с Катькой Большаковой — это подружка моя, она ещё жива, только ноги хуже моих — как увидим мы васильки, какие уж нам колоски! Бабы нас костерят, домой отсылают. А мы венки сплетём, в обед на речку бежим купаться. А вон там тополь рос, старый уже, у нас на нём качель была, и мы на ней ух, выше облаков! Война войной, а всё одно ж дети были. Как ты сейчас.

Лицо у женщины грузное, старое, усталое, всё в мелких трещинках, только в глазах — яркие васильки.

— Так нарисуешь, Коля? Я отблагодарю.

— Эх, какая шишка клюнула! — обрадовалась бабка, выпросив у Колюни про заказицу. — Не абы кто, на фабрике старшим мастером работала. Наваракаешь — я сама ей снесу. Я лучше договорюсь.

Сноровки Колюне теперь не занимать: воспарит лёгкая кисточка над рисунком, коснётся быстро, где надо — и опять спешит, ищет, смешивает проворно краски, чтобы продолжить ловким челночком свою завлекательную работу. И уже, кроме васильков, готовы и другие наклейки: веточка черной смородины, подробно, с тонкими прожилочками на листьях; букет полевых цветов, хозяйкин дом, играющие кошка и котенок. Ещё не просохли изящные завитушки в углах картинок, а бабка уже стояла над душой:

— Ну всё, давай понесу, порадуя тётеньку...

— Да погоди, баб...

— Чего годить-то! Лучше, чем с магазина. Давай!

— Да нет ещё... — неуверенно, с досадой отвечал Колюня.

Мамкиным дружкам мог он рисовать, что в голову взбрѣдет, любую хохму, лишь бы нескучно им было пьянствовать и базланить, они б приняли или высмеяли, и никто не в обиде, но тут ему доверила незнакомая старая тѣтя, и событие у неё серьёзное, важное, а не просто наклюкаться и соседей пугать.

На следующее утро бабка снова заглянула насчѣт наклеек: «Опять не готово? Ну ты и теньтник!»

Сомневался Колюня: вдруг совсем и не васильки главное? А что тогда? Ходил смотрел, как девчонки прыгают в классики, как сидят на скамейке, болтая ногами; разглядывал на обочине со всех сторон старый, в три обхвата, тополь, как стекают по его стволу бугристые потоки коры, натываясь внизу на округлые, словно валуны, наросты.

И книги листа Колюня, изучал дотошно изображения людей в разных позах, делал намѣтки; сидел на стуле перед зеркалом, срисовывал свои локти и сжатые кулаки, примерялся так и эдак, настраивался. Но когда, наконец, собрался с духом, всё вокруг перестало для него существовать — лишь белый прямоугольник бумаги. А за ним, как за окном, как за волшебной рамкой, открывался другой мир: колыхалась волнами рожь, катилось солнце по лесам и долам, пели жаворонки и поскрипывала натруженно толстая ветка старого тополя над шаткими качельками. И эта живая картина останавливалась, замирала по велению, по хотению Колюни и терпеливо ждала, пока у него получится. И получилось. Девочка на качелях. Солнце струится по стволу старого тополя, по его изможденной, изрубцованной коже, солнце же залупалось в льняных волосах девочки; голубой венчик, голубые озорные глаза, лёгким крылышком трепещет ситцевое платьице, бегут по воздуху босые ноги...

— На, баб, всё теперь.

Воротилась бабка с консервами, пряниками, конфетами. Не на один бы день хватило, если б под вечер не заявила, по привычке, компашка с мамкиным хахелем во главе. А этим, что ни дай, всё мало:ещѣ и добавки потребуют, и спасибо не скажут.

С той старой женщиной Колюня случайно встретился ещё раз, у продмага, когда ходил за хлебом. И она обрадовалась, отвела его в сторонку, сказала, что он умничка, и наклейки вышли замечательные, и никто за столом не поверил, что их нарисовал маленький мальчик из посѣлка. А самое удивительное, на качелях — копия она в детстве, так подружки её старые, что ещё живы, в один голос говорят, и поразительно, как он сумел так угадать. Она погладила Колюню по голове, достала из сетки кулѣк с халвой и пачку печенья, отдала Колюне. И Колюня возвращался домой весь из себя — и совсем не из-за печенья с халвой.

Мамку Колюня тоже однажды изобразил — лихо поднимающей полный стакан вина, такого же красного, как и её губы. Мамка наклейку

спрятала, заорала, чтоб он больше так не делал, и что она сама скажет, когда её можно рисовать, а когда нет.

А мужики из их двора, которых Колюня нарисовал за игрой в домино, в потных майках, с наколками на руках и плечах, с куревом да вином, (им бабка впарила бутылку с этой наклейкой) — не обиделись. Наоборот. Лучше, говорят, чем на цветной фотке, хоть в альбом. Даже жаль, что на бутылке.

Потихоньку слухи о самодельных наклейках разошлись по посёлку и на Колюню — через бабку, конечно, — посыпались заказы.

Кто-то ездил в областной центр, рассказывал: в городе можно натурально заказать самоличный портрет на бутылку вина, только плати. А что, посёлок — хуже? Найдётся, кому рисовать, и совсем за дёшево. На носу провода в армию — на столе у Колюни фотокарточки парней, родители передали. И превращаются на его наклейках ещё не нюхавшие пороху новобранцы в будущих храбрых моряков и танкистов, в бескозырках и шлемофонах, при мундирах и орденах-медалях, на гордую память отцам-матерям да друзьям-товарищам.

И всегда на любое большое застолье много всяких видов заказывали. Но ничего такого особенного — ну там цветков лотоса или лазурных морей со скалами. Нет, хотели видеть то, что и так всю жизнь под рукой, под боком, перед глазами. Будто это, такое обычное, привычное, и было самое красивое на свете. Колюня не спорил, с удовольствием рисовал чей-то неприметный домик со скамеечкой перед обветшалым забором и с белой вишней над ним, с облачками в голубом небе, и тот же дом, только зимним вечером, с мягким разноцветьем покойного, обильного снега и с сизым дымом из трубы на закате, черёмуху у ржаво-красных коробок гаражей, холмистые кусты сирени, разную домашнюю живность и, само собой, речку во все времена дня и года. А что красивое или некрасивое, Колюня уже не знал, совсем запутался. Уж на что дурное растение репей — от него ведь только вредность одна да колючки, умаясь с одежды их отцеплять, — а когда цветёт и его головки венчают лилово-алые короны лепестков, так краше розы будет, правда-правда!

Мамку с бабкой на гулянья не зовут, так они Колюню подзуживают: сходи, может, что и обрыбится. А Колюня непротив, не всё ж одних мамкиных дружков слышать да видеть. И все с ним радушны, приветливы: «Садись, Колюнь, места хватит. Давай угощайся, не стесняйся».

А всего веселей на свадьбе. Вертит Колюня головой, ага, увидел: вон бутылка водки, и поверх её настоящей и строгой заводской наклейки — видно это по чуть выступающему её краю — его наклейка, Колюнина.

Наконец, выдавливаются, высыпает свадьба из душных накуренных комнат на вольную улицу. Гармонист, скособочась — вот-вот клюкнется со скамейки — врёт, не чувствует, потерял мелодию, царапает слух фальшивыми взвизгами, но тёткам, немолодым и пьянущим, нет удержу: сняв цветастые платки да натянув их вразлёт кулачками, кружат и сами кружатся, вбивают яростными шипами каблуки в землю, в щебёнку, долбят в крошево асфальт, брызги во все стороны: «Э-э-э-х, жизнь была да утекла, а я красивая была!» — И орут заполошно, внадрыв, похабное, чапушки матерные. Глядит Колюня, словно опьянев, — а может, и правда, паров винных надыхался, пока у стола теснился, — и неловко ему за баб хмельных: небось, молодые-то были, такое не пели, ходили глаза долу, и все на них заглядывались, а теперь блажат истошно, голосят, как недорезанные, и даже пьяные мужики отводят от них смущённый взгляд, им и то неудобно. Только вон пацаны на велосипедах остановились, лыбятся, хмыкают.

И дома, добравшись до своего дивана со столом, словно накрытый непроницаемым колпаком-колоколом, рисует Колюня новую наклейку, широкую, в пол обёртки. Позади — кривой гармонист гонит меха

пьяной бордовой волной, а впереди бабы в пляске: одна, колченогая, прогнув спину и склонив седую, с прибором посередке, голову, лица не видать, выныривает из круга надломленной птицей, а по бокам две другие, грузные, несуразные, распластали платки отчаянными крыльями.

В скорбной, горестной страсти опущены глаза; в бесшабашно разверзтых, но будто искорёженных ртах — крик боли, словно замер протяжный стон, предсмертный вскрик. И не поют будто, а задыхаются, хватают ртом обжигающий воздух — или голоса по умершим — хотя, может, и не по умершим даже, а по живым ещё. Эх, жизнь утекла, а я красивая была...

Смотрит Колюня на свой рисунок будто издалека, будто посторонний, только слабость внутри, во всём теле: не забыл ли что, без чего всё не то... Нет, вроде... Прижал за уголки наклейку линейкой и ластиком, сушить.

— А злой ты стал, Колюньчик, — подойдя и зыркнув на картинку, надупилась бабка, — совсем страх потерял.

А потом закивала головой: «Хотя так, всё так. Только и сам таким станешь, не успеешь и глазом моргнуть. Спыхватишься — а всё, Колюнь, всё: хоть пей, хоть пой, хоть сдуру вой, уплыло, тю-тю, помаши ручкой... Наклеечку оставь, может, с подругой посидим, вспомним разное.»

Бабка ещё бухтит, задело её, а Колюня прилёт на диван, сил не осталось, поджал колени: «Баб, дай я посплю...»

За наклейки Колюню угощали вкусностями, а деньгами рассчитывались в основном с бабкой, с ним — редко. Как-то раз, собираясь дать и ему, спросили: «На что потратишь?» Колюня подумал-подумал да и брякнул по-простецки: «Мамке бы хорошего вина купить, настоящего, только мне не продадут. А то траванулась вчера всякой дрянью». «Да хоть она из лужи пей, — возмутились люди, — на неё — ни копейки. А что себе выберешь, купим».

Выбрал Колюня в магазине самую большую, самую дорогую шоколадку, хотел дома раскупорить. Бабка и говорит:

— Ты с чиколаткой-то в школе покажись, пусть видят. А то болтают всякое.

Ну и взял Колюня шоколадку в школу. Первым делом Верку угостил. Тут и пацаны окружили, налетели: «Колюнь, дай куснуть!» Колюня жмотиться не стал, так сам шоколадку и не попробовал даже, кусочками по рукам разошлась.

Звонок прозвенел, урок начался. Учителка услышала хруст фольги, и одна девчонка-вредина наябедничала на Колюню: «Это ему шоколадки за наклейки для водки дают. Он как много нарисует — ему и дают». Откуда она прознала, Колюне невдомёк: сам-то он в школе никому не трепался. Учителка и спросила: «Это правда, Коля?»

Колюня отвёл глаза, помялся: «Да я и так рисую, без шоколадок...»

А для мамки эта шоколадка обернулась боком. Мамку уже давно в школу вызывали, и в дневнике, и в тетрадях грозили, что с милицией приведут.

И мамка отважилась, явилась сама. Зашли вдвоём с Колюней в учительскую. Вначале учителя говорили ласково, спрашивали Колюню, но он больше отмалчивался. Потом его попросили выйти, и Колюня, стоя за дверью и отколушывая ногтем комочки старой коричневой краски с дверного косяка, слушал, как взялись за мамку:

— Вам не стыдно, а? Вы же нам здесь клялись, что уделите внимание ребёнку, что исправитесь. А от вас перегаром за версту несёт!

— Да я сегодня ни капли, — начала было мамка, но на неё зашумели со всех сторон:

— Это значит, вы со вчерашнего так набрались, что просто даже не верится: вы женщина или кто? Ну что ж вы с сыном-то творите? Мальчик-то ведь хороший, покладистый, вежливый, и рисует вон как здоро-

во, а мы только из жалости не оставляем его на второй год, потому что он-то не виноват. Виноваты вы. Вот только не надо нам здесь про безотцовщину, не надо! И других детей матери одни растят, а, по крайней мере, дети у них и одеты чистенько и голодными в школу не ходят.

Мамка возьми и верни: «Да нет же, он у нас даже шоколадки ест».

Тут на неё все и накинулись.

— Слышали мы про ваши шоколадки! Для водки самопальной Коля этикетки рисует, вот откуда шоколадки... Вы разве не понимаете, что своего же собственного ребёнка можете просто разворотить? — слышит Колюня и обиженно думает: «Как это меня можно разворотить? Я ж не ворота или гнездо какое?» А за дверью все ругаются наперебой.

— И это, кстати, — слышался другой голос, — эксплуатация детского труда, за это статья вообще-то.

— Мальчик арифметику даже на уровне первого класса едва знает. А что хотите? Математика крика не любит, а вы свою квартиру в чёрт те что превратили, в притон с пьяным ором, со скандалами. Вот Галина Сергеевна несколько раз хотела посмотреть, в каких условиях Коля занимается. Так не могла даже к двери вашей подойти: там мат-перемат, и мужики пьяные, просто страшно! Как ребёнку в таких условиях жить? Вот он и спит на уроках. А обращаешься к нему — вздрагивает, и врач говорит, у него уже невращения развивается. А ещё и с желудком проблемы, и с позвоночником. Только не делайте нам тут удивлённые глаза, вам это и говорили, и в дневнике писали сколько раз. Но вам же, извините, наплевать! И какой пример вы сыну подаёте? Да такие, как вы, не имеют права даже называться матерями! И мы этого так не оставим!

Мамка выскочила из учительской, как ошпаренная; потащила Колюню за руку, останавливалась, гладила, покрывала его голову липкими поцелуями.

— Фиг вот им, правда, Колюнь? — и мамка добавляла матерные слова. — Не отнимут они тебя у мамки, не бойсь!

Дома мамка заглянула на кухню, отхлебнула из бутылки: «Я чуть-чуть, Колюнь, все нервы растрепали! Уроки делать сейчас будем, доставай свои тетрадки». Притащила из кухни расшатанный, в ожогах от окурков табурет, уселась: «Арифметику задали? А ещё чего? Вот давай, родную речь. И громко читай, шибче, понял?»

Колюня ещё спотыкался на первой странице, а мамка, свесив голову на грудь, уже тихонько похрапывала. Но застучали по-хозяйски в дверь, своим стуком, дружки чумовые — встрепенулась пташкой, скорей открывать.

Стоял поздний весенний вечер. Гости во главе с мамкиным хахелем заглядывали и уходили, а мамки всё не было.

— Да откуда мне знать, где её носит! — ворчала бабка.

Было однажды такое, Колюня ещё в школу не ходил: прибежали за ним соседские мальчишки, сказали, мамка его лежит под кустами, не шевелится, они покажут, где. Насилу разбудил тогда мамку Колюня. И мамка потом долго кашляла, а бабка сказала, что вообще и окочуриться могла. Так что на этот раз Колюня сам поспешил на мамкины поиски. Прошёл по закуткам-закоулкам, стал спускаться с горы к речке.

Там, на берегу, на длинном кривом брёвнышке сидели, обнявшись, двое: женщина положила голову на плечо мужчины. Их силуэты недвижно темнели на фоне блестящей ночной реки. А над ними в синем небе сияла бело-лимонная Луна. Справа, оторвавшись от чернильного сгустка тьмы, на Луну чёрными ножами надвигались, летели облака. Но Луна со снисходительным равнодушием плыла сквозь них и мимо них, и над всем миром. Волнение охватило Колюню. Он приблизился к сидящим, окликнул. Нет, то был точно не папка, а молодой мужик, которого Колюня уже видел совсем недавно на посёлке. Мамка поднялась, оглаживая затёкшие ноги, и велела Колюне идти домой: холодно, да и они уже тоже идут.

И Колюня побрёл назад. Однако волнение не отпустило, хотелось оглянуться, но было боязно: а вдруг Луна окажется совсем не той, какую он увидел несколько мгновений назад и запомнил? И Колюня утерпел, не обернулся, только прибавил шаг. А дома лихорадочно, слабей от сладостной дрожи, принялся рисовать. Под его влажно-отточенной кисточкой в пятне света от ночной лампы всё рождалось заново: и чёрное пламя облаков с острыми языками, и величаво равнодушная, повидавшая всё на своём бесконечном веку Луна, и затерявшиеся в самом низу, прилипшие друг к другу две человеческие фигурки, такие маленькие и бесприютные. И ничего Колюня не придумал, только чуть-чуть притянул Луну к земле, чтоб не слишком возносилась.

И пока рисовал, был Колюня словно наглухо заперт в себе, но как закончил — почувствовал: что-то не так на кухне, не то. Оттуда доносились крики, женский визг, возня, грохот. В комнату скользнула бабка, наклонила к Колюне известковое лицо с чёрными губами:

— А ну живо спать, Колюнь. Милиция придёт — скажешь, спал уже, ничего не слышал. И никшни.

Этой же ночью приезжала к дому милицейская машина: по рации переговариваются, синие всполохи по потолку от мигалки, в квартиру к ним люди вошли, говорят громко. Лежит Колюня под одеялом, не шелохнется.

Из разговоров людей и пьяных, и трезвых, вошедших, из шушуканий мамки с бабкой Колюня уловил: дело в кухонном ноже. В том самом, с окалиной по верхнему краю, которым Колюня при жарке сам частенько ворошил на сковороде нарезанную картошку, и с которого, не утерпев, отрывал острыми губами прикипевшие, шипящие в маргарине и рыжие, с горячим хрустом, ломтики. И этот самый нож оказался вначале в бешеной лапе старого мамкиного хахеля, а потом, не вытертый ни от маргарина, ни от картофельных горелок, вошёл в тело нового мамкиного дружка. И уж потом этот нож вошел в уголовное дело. Порезанного молодого мамкиного дружка на мотоцикле с коляской соседки отвезли в больницу, где он твердил, что сам по пьяне упал и натолкнулся на нож. Но ему не поверили, потому что раны от ножа было две. И старого мамкиного хахеля повязали и посадили в клетку.

— Мамк, а как так вышло-то? — Спрашивал Колюня упавшим голосом.

— А я виновата, что мужики за меня сцепились? — живо откликнулась мамка, приосанясь и расчесывая перед зеркалом свои густые волнистые волосы. — Я им не нянька, сами разберутся. Если мужики.

— А тебя не убьют?

— Да пусть бы и убили, потом. Только б любили, — вдруг с вызовом отвечала мамка. — А то смотри, — она расстегнула ворот, и Колюня увидел, то, что видел и прежде: длинные, похожие на едва зажившие раны, морщины на мамкиной шее. — Видишь? Ничем уже не замажешь. Вот чего боюсь! Больше ножа, Колюнь, боюсь...

И всё-таки мамке тоже перепало. Постучали в дверь условным стуком, по паролю — мамка и открыла. А прямо с порога молодая женщина в куртке поверх халата кинулась на мамку со словами: «У самой жизни нет, так на чужих мужиков потянуло, да? А что у него дети малые, что его за тебя порезали — тебе плевать, тварь ты подзаборная!», ударила мамку по лицу, схватила и стала тягать за волосы. Колюня хотел помочь мамке, но бабка отшвырнула его: «Не лезь, сами разберутся.» И подбоченясь, выставив вперед ногу в дырявом тапочке, стала громко и нарастающим выговаривать:

— Ой, да вы ж посмотрите, какая цаца к нам пожаловала, целочка какая! Мужик у ей кобелина, бабёнке проходу не даёт, а она тут права качает да ещё дитями малыми прикрывается. Вот и держала б с дитями

его за хвост, кобеля-то своего, а не руки распускала почём зря. — И до-
бавила тише, подначивая: «Дочь, не позорись, накатай ей!»

И мамка не опозорилась. Изловчилась, вывернулась, рванула что-то, застучали по полу пуговицы от куртки. Из распахнутого халата незваной гостью выкатилась бело-розовым наливом дрожащая грудь с большой пупырчато-багровой пипкой. Увидев замерший взгляд Колюни, женщина прикрылась руками, выругалась и с угрозами выбежала вон, хлопнув наотмашь дверью.

Мамка же сняла свою кофточку, порванную на рукаве, и, шумно шмыгая носом, села её штопать. Колюню трясло. Времена наступали плохие.

Некоторые мальчишки курили, кто в рукав, кто за углом. И Колюне предложили курнуть, но его стошнило. А вот запаха курева и сивухи вместе с пьяным гомоном гостей на кухне Колюне не хватало. Мамкины приятели теперь не заглядывали к ним ни днём, ни вечером.

Иногда Колюня ходил на пустырь — посмотреть, как мальчишки играют в футбол. Все хотели быть нападающими, и Колюню звали постоять в воротах, меж двух камней или воткнутых прутьев. Колюня соглашался и поначалу удачно, с ожесточением отбивал сырой мяч с обжигающей до крови шнуровкой. Но потом задумывался о своём и пропускал самые легкие мячи. Мальчишки из его команды ругали его по-всякому, и Колюня спокойно сносил оскорбления, но когда поминали грубыми, непотребными словами его мамку, бросался на обидчиков с кулаками. И бывал бит — правда, несильно.

И Пушок давно уж раздружился с ним. Хотя Колюня был и не виноват. Когда перепадали Колюне мелкие деньги за наклейки, приводил он, вернее, притаскивал, Пушка к себе, половичок ему у батареи постелил, портрет Пушка на банку для молока наклеил. И вот послали Колюню за хлебом, а мамка, как она потом божилась, выбежала на минутку к соседям за солью. Вернулся Колюня, видит: один из мамкиных дружков (тогда они ещё приходили) держит Пушка на коленях и, разжав тому пасть, вливает ему в горло из бутылки остатки водки. Колюня закричал, но мужик только ухмылялся: «Да ладно, Колюнь, они ж валерьянку лакают, только дай. Пусть и водочки попробует, мы не жадные!»

Вырвался Пушок сам и с той поры при встрече с Колюней шипел, царапался, жался к стенке и убегал. Не простил обиду.

Несколько раз приходила Верка с девчонками и, не решаясь войти в дом, стучала в окно, звала Колюню в школу: «А то тебя на второй год оставят. Ты этого хочешь?» А Колюне было всё едино.

Мамку вызывали в милицию. Всхлипывая и шепелявя, она рассказывала бабке: следователь её подловил, всякие невинные вопросыки задавал, она и купилась; потом сдуру зашла к дружку прежнего халея, рассказать про допрос, тот психанул — и вот, сама напросилась! Мамка осторожно пошевелила разбитыми, вздутыми губами.

Колюня сжимал кулачки, но что он мог сделать? Лучше лечь и ничего не слышать.

А бабка жилистая, держалась бодрячком, стыдила мамку: «Сопли подбери. Расхлюпилась... Прорвёмся, не в зоне». Поздно вечером слышал Колюня, как прибежала бабкина подруга-товарка. Стала рассказывать, что в церкви приезжие работали, артель небольшая. Им завтра уезжать, винцо, что было, оприходовали, а им еще бы надо, хоть несколько бутылочек, только попрличнее. И обе зазвенели бутылками из верхнего коридорного ящичка, с колюниными наклейками, выбирали вдвоём на свой вкус. И бабка, выглянув наружу и глянув, нет ли кого, загрузила подругу бутылками и тихо заперла за ней дверь.

Колюня средь дня лежал в одежде на диване, когда в дверь постучали. Мамка, отворив, с ходу завелась: «Ну живет! Ну рисует, да, наклейки — и чего? Он что, убил кого? Меня затаскали, так ещё и его давай? Да пошли вы все на, достали уже!» А пришедший ей своё: «Да нет, вы не так поняли, я не из милиции, я художник. Мы бригадой церковь вашу ремонтировали, с реставрацией. Вчера вечером это дело отмечали, вина не хватило, и взяли самодельное, с наклейками интересными. Вот так и увидел Колюны работы... Хотел бы познакомиться».

Дверь Колюниной комнаты была открыта, и Колюня приподнял голову, глянуть, какой он, настоящий художник. И совсем не похож: лицо почти бритое, с легкой щетиной, никакой бороды, и одежда обыкновенная. А мамка уже обтягивала на себе кофточку, поправляла волосы, и, прижимая ладошку к локтю, где была залатанная дырка, через плечо звала Колюню:

— Колюнчик, сынок, принеси-ка нам свои наклейки. Мы с дядей художником посмотрим.

Колюня без особой охоты поднялся, достал из-под дивана полиэтиленовые пакеты с наклейками, понёс на кухню.

— А может, по чуть-чуть? — предложила мамка. — За знакомство?

— Да нет, спасибо, нам вчера хватило, — отозвался гость, поглощённый Колюниными наклейками, которые он вынимал из пакетов по несколько штук и раскладывал рядком на дырявой прожжённой клеенке обеденного стола. — Очень интересно, очень. По тебе, Коля, (Колюня стоял рядом и глядел в сторону) даже не подумаешь. Вообще даже удивительно, как в таких условиях... я хотел сказать... в общем, Коля, ты молодец. Уж я-то в этом деле понимаю.

На последние Колюнины наклейки пришедший смотрел особенно долго.

— И тебе никто из взрослых не подсказывал?

— Неа...

— А если кой-какие из твоих работ я возьму с собой, на обсуждение, — ты не против?

— Неа...

— А хотел бы ты учиться на художника, вместе с другими ребятами? Там интересно. Хотел бы?

Колюня безразлично пожал плечами.

— Да, не очень ты разговорчив, — заулыбался гость, — ну да ничего, думаю, мы ещё подружimsя.

Колюне было неинтересно. Ему никуда не хотелось отсюда уезжать, не хотелось разговоров, хотелось только одного — полежать, а лучше б уснуть, на весь день. И когда мамка отпустила его, он потерянно поплёлся к себе на диван и, пытаясь заснуть, закрыв голову одеялом, продолжал слышать беседу гостя с мамкой. Тот говорил: «Поймите, у вашего сына своеобразный, самобытный талант. И талант к рисованию, и композиционный, это совершенно очевидно. И ещё — не знаю, как правильно назвать — как бы нерв. Ничего лишнего, но он подмечает, выхватывает именно то, что сразу цепляет, не отпускает взгляд... Может, это ещё и драматический дар? Шероховатости тоже есть, и их, на профессиональный взгляд, немало, но всё это мелочи, всё поправимо.

— Да, Колюня у нас да, — согласно бормотала мамка, — только вот всё соседи, уроды...

— Я тут, извините, стал спрашивать у людей про Колю. И в школу Колину зашёл. И немного в курсе ваших... ваших обстоятельств. Да, всем сейчас трудно, и вам тоже. Многое позакрывалось, но пока ещё есть, никуда не делась областная школа-интернат для особо одарённых детей. Там и преподаватели отличные, и питание хорошее, и содержание. Ребята все творческие. И Коле будет интересно, абсолютно уверен. Но мне нужно хотя бы ваше устное согласие. И тогда я буду говорить с руководством интерната, покажу Колюны работы, надеюсь, его примут

без всяких экзаменов и невротрепок... Ну ведь нельзя же так, — зашептал гость порывистым голосом, — страна, конечно, огромная, но мы всё разбрасываемся и разбрасываемся. Появилось что-то самобытное, пусть только росточек, — нам всё равно, пройдем, не заметим, разве это дело? Что ж потом-то останется? А представляете, открываете вы однажды книгу — а там Колины иллюстрации. Или выставка с картинами вашего сына? Разве не здорово? Вы согласны?

Мамка растерялась, ни «да», ни «нет», но в конце сказала: «А, может бы, и нормально б, пусть бы хоть у него по-человечески...» И художник ушёл, уехал.

В следующие дни ещё кое-что случилось. Того порезанного молодого мужика, что за мамкой ухлестывал и под луной сидел, опять в больницу положили: не зажило у него в животе, что-то не срослось. И братья с дружками этого молодого мужика отделали штакетником дружков старого мамкиного хახеля, так отделали — мало не покажется. А ещё и мамке пригрозили, и она теперь не высовывала нос из дому. Потом к мамке приходили из милиции, сказали, скоро суд над её прежним хახелем и ей надо быть на суде, и пусть она даже не думает улизнуть, хуже будет. А куда уж хуже-то? Мамка маялась дома одна, выпивала и спала на боку в отключке. Или лежала на спине, уставясь в потолок, в одну точку, и Колюня то и дело заглядывал в мамкину комнату, подолгу глядел в недвижимое мамкино лицо, и никогда прежде ему не было так жутко.

Мамка понемногу оклемалась и от нечего делать стала прибираться или стирать. В один из таких дней к ним зашла почтальонша, но принесла под роспись не повестку в суд, а длинный конверт. Мамка таких отродясь не получала. В Колюниной комнате она рывком, неровно разорвала конверт с краю, бросила его на стол и, шевеля губами, принялась молча читать написанное.

И Колюня немного очнулся, узрев дивную марку на конверте: крохотный рисунок птицы, подписано «Дрофа», и всё можно разглядеть, и пёрышки, и клюв, даже глаза.

— Мамк, смотри как всё маленько и тоненько, и всё видать. А как они так делают?

— Да откуда я знаю, отстань, а! — отмахивается мамка. — Значит, как-то делают.

Не до него мамке, свою думу думает, хмурится, улыбаётся тонко, по-змеиному, задумала недоброе. Потом, выхватив у Колюни конверт и оставив открытую дверь, бежит мамка к соседям, звонит, стучит к ним в дверь, — и слышно, объявляет срывающимся, обиженным и мстительным голосом: «Вы вот всё на нас телеги катаете, и что Коленя у нас неприсмотренный и всё такое. — а посмотрите вот, какое нам письмо прислали, из центра прямо, одни марки вон какие. Посмотрите, посмотрите, разуйте зенки-то, чтоб не вякали другой раз. Только я вам в руки не дам, чести много будет. Колюньчика у нас в школу зовут, на художников, на всем готовом, приезжай только. Ясно? Вот как мы его тут без уходу, без присмотру!

Но без толку мамка с бабкой хорохорились, сами просекли уже: не будет им теперь тут житья, все против них. А Колюня так уже давно понял...

С тех пор минули годы, и в родном посёлке мало что могли рассказать о Колюне. Впрочем, угостившись хорошими сигаретами, две дамы, которые сидели во дворе на врытых в землю покрывках и культурненько отдыхали, согласились поговорить.

— Это который наклейщик, вон из того дома? — переспросила первая дама, в яркой куртке, бойкая, со вздернутым носиком, с густыми, чуть размазанными ресницами и небольшим, почти зажившим и почти симпатичным синячком под глазом. — Он помладше меня был. Его вроде бы

учиться в центр увезли. Ну а мамка с бабкой, как им тут хвоста накрутили, так и свинтили. В другой район, вроде бы там у бабки сестра. А что, как — кто ж его знает? Хотя... Гуляли мы тут у одних, ну и одна тётка болтала по пьяне, что её знакомая была в тех краях и видала Колюню. На рынке то ли маляром, то ли подсобником подрабатывал. И тогда уже пил по-чёрному, хоть политуру, хоть что. По этому делу и в тюрьгу загремел, подставили. А так-то паренек тихий был, незлобный, я помню. А чего удивляться? У него и мамка, и говорят, и папаша, квасили будь здоров. Яблочко от яблони...

— Да чего ты лепишь-то? — не согласилась вторая дама, более серьёзная. Она на всякий случай придержала от легкого ветерка початую бутылку вина, что стояла у дам в ногах, на обломке кирпича. — Он же на художника учился. Одну только картину продал — и деньги на руки, и всё: и матери всего навёз, и отца в лучшей больничке от этого дела вылечил, без всякой торпеды. Ну а водочку-то, конечно, пьёт. Деньги есть — чего ж не пить? А они художники, им вообще надо. Только он не просто водочку пьёт, а по сто рубликов бутылочка. От неё и голова-то не болит никогда, не то чтобы что.

— Ага, много там напьёшь, в зоне-то! — перебила подружку первая дама. — Там другое вышло, я вспомнила. Таська Колокольникова говорила, у ней брат в той же зоне, что и Колюня, чалился. Хотя Колюне и правда повезло: дохляков там не любят, а его никто и пальцем не трогал. Он ведь наколочки набивал — закачаешься. Ему даже похавать в камеру, как в номера, приносили, такая уважуха была. А там церковь поставили для зэков, и Колюня в церкви всё делал, всё рисовал, даже маленькие иконы, — вот такие, не больше, — дама, подняв бутылку, щёлкнула пальцем по наклейке и нетвёрдой рукой налила вино в пластиковые стаканчики себе и подруге; дамы, выдохнув, снова выпили. — И одна иконка у него получилась вообще классная, просто суперская. А у них в том же районе — монастырь, мужской, и оттуда к ним приезжал ну как бы ну самый главный у них, — во, во, ахимадрит. И вот ахимадрит этот поставил Колюню иконку на стол, стал на колени, и молился, и молился, и за Колюню, и за зэков в зоне, и за нас за всех, прости, Господи, молился. (Мотнув головой, дама сглотнула и помолчала). А Колюню после зоны в монастырь позвали: раз ты, Колюня, такой мастак, давай к нам. Он, наверно, там сейчас и рисует... А я бы тоже в монастыре пожила. Не, не всю жизнь, а так, немножко, приколько ж.

— А я бы и задержалась, в мужском-то! — подхватила вторая дама, и обе надсадно загыгыкали. А потом первая дама, чуть поплыв взглядом, сказала:

— Мужчина, а вы ещё не угостите даму сигареткой? Можно парочку, мне как раз такие нравятся.

Бутылка — явно не первая, — оказалась почти опорожнённой, и было трудно угадать, что же в словах дам о Колюне правда, а что нет. Ведь и дамы, хорошенько выпив, не прочь иной раз и присочинить, дать волю воображению, и стусить краски. Почти как истинные художники и художницы.

ДЕРЕВО

Порядок у Емельянова в саду-огороде. У соседа — всё наоборот: прикатит из города, когда вздумается, уткнётся в бутылки, в водку-пиво, а на участке — репей да крапива. Только одно дерево растёт, старое, на границе, за забор над Емельяновым огородом склоняется. Не тополь, не осина, не яблоня, не рябина, не пойми что. Каким ветром, какой птицей семя дерева занесено — тоже неведомо. Зато метра на три от земли ствол голый, склизкий, прикасаться противно. Спрашивали у соседа, что за дерево — даже трезвый не знает; странное, а высоко разрослось,

градки от солнца загораживает. Даи не дело это: дерево соседское, а нависает над твоей головой. Емельянов — к соседу: «Давай его спилю, у тебя дрова будут, и мне забор не повалит». Как же, уперся сдуру: «Пусть хоть одно дерево у меня растёт, тем более у других такого нету. Может, оно это, как его, реликтовое? Или его в Красную книгу надо? Не дам». Эх бы собственную красную физию соседа с красным его носом да в Красную книгу занести, и чтоб он там захлопнулся, с бутылками вместе. Ну да ладно, ничего не поделаешь.

А у Емельянова сын маленький, всё ему любопытно. Идут по саду-огороду, тот на дерево уставится:

— Пап, а чего на дереве растёт?

— Не знаю. Листья, вишь, какие густые, не разобрать. Иди-ка лучше с детшками играй.

Прошли годы. Сын опять за своё, про дерево это:

— Папк, а я вроде как плоды на дереве видел, дай слазию. И сам попробую, и тебе сброшу. Я махом!

Отец посмотрел на дерево, нахмурился:

— Рано тебе по таким деревьям лазить. Подрасти.

Ещё время прошло, сын уже старший класс заканчивает, взрослый, считай, поумнеть бы должен, а насчёт дерева не унимается:

— Всё приглядываюсь, бать: чудные плоды, то они есть, то нету. А, видать, созрели: пипочки тёмные уже, большие, как у боярышника, а кожица бело-розовая, но точно не яблочки. Манят, сладу нет. Я полезу, бать?

— И не думай даже, — рассердился отец. — Неча по чужим-то деревьям лазить. Да и скользкое оно, шею сломаешь.

Такой вот промежуток разговор был насчёт дерева.

В самом начале лета, в выходной, завёл отец свой «Жигулёнок» и поехал в город, запчасти купить к насосу для огорода. А сын дома да в огороде болтался. Поглядел на дерево: опять плоды влекут к себе, глаз не оторвать. И вроде как там, наверху, будто шевеленье какое весёлое, — птички, наверно, лакомятся, наслаждаются, пока другим-то нельзя.

Побежал сын в дом, в прихожую, выдвинул из-под скамьи ящик отцовский (а старший Емельянов работал электриком на подстанции), достал из ящика «кошки» (зацепы такие стальные, чтоб по гладким деревянным столбам залезать, чинить линии электропередач). Надел отцовские «кошки» на ноги, полез по гладкому стволу дерева. Добрался доверху, протянул руку к плоду — а ему в ответ игривый смех: «Смотрите, какой шустрик попался!»

Ух, не ослепнуть бы: там, вверху, девчонки на ветвях сидят, красивые, в чём мать родила, ветками чуть прикрываются. И плоды те — не плоды вовсе, а груди их девичьи, белорозовые, будто соком налитые. Русалки! И каждая к себе манит, зазывает... Заласкали, истомили парнишку любовью своей до беспамятства да и унесли с собой, а куда — да кто ж их, русалок, знает? Отец вернулся — сына нет нигде, подошёл к дереву, поглядел наверх, плодов не видать, а смотрит — около дерева «кошки» его рабочие валяются да скомканная тенниска сыновья. Тут-то отец и смекнул, что дело нечисто. Тем более, что слухи по посёлку уже ходили.

Конечно, как должно-положено, поехали они с женой в район, написали заявление по образцу, увеличили портрет сына с общей фотографии выпускного класса, объявление на ксероксе в книжном магазине размножили и собственноручно в самых людных местах расклеивали, и не только у себя, а и в соседних районах, на вокзалах, на рынках, да у людей всюду спрашивали, не видел ли кто сына? Нет, никто не видел.

Но на рынке одна бабулька, которая торговала плетёными корзинами и мордами рыболовными, да и сама плела всякие поделки из лозы, выслушала внимательно, выспросила всё подробно и просила даже повторить, поскольку была малость глуховата.

— Брат мой, царствие ему небесное, лозоходством увлекался, уважал лозу, — сказала она, — особенно из ивы. Ива-то в трёх стихиях живёт: и в воздухе, и у воды, и на земле, и, стало быть, линии жизни ведаёт. Только вначале нужно правильные прутьики выбрать.

Перед женщиной лежали на столе связки гладких прутьев. «Этот — она достала из одной связки самый светлый, белёсый прут — белый, как облачко воздушное. Вот этот, — она извлекала прут из второй связки, — серый, как вода дождевая. Ну а этот, тёмный совсем, — как сыра земля».

Выровняла она гладкие ветки по толстым концам, сжала их в кулаке, провела ивовым пучком над портретом парня и, смочив пучок в ведёрке с водой, другой конец пучка стала не спеша, с сосредоточенным лицом, на свободную ладонь наматывать. Наматывает и приговаривает: «Есть у судьбы глаза, всё расскажет лоза. Коли лоза назад извернётся, то и сын ваш родимый найдётся, вернётся». И отпустила лозу, и все три прута распрямились, как натянутые звонкие струны. «Жив ваш сынок ненаглядный, — заулыбалась бабушка, и морщинки её строгого лица словно осветились. — Русалки молодые созорничали, с собой унесли, те ещё хулиганки. А искать его надо вдоль реки вашей, с той стороны, откуда сынок исчез. Каждый день искать, терпеть и искать. Но дерево не трогайте, пусть он сам решит».

Три года, три месяца и три дня ходили Емельяновы, отец и мать, по берегу реки, и с рассветом, и вечерами, то отчаиваясь вконец, то опять всё-таки надеясь, и ранним утром крайнего дня увидела жена на берегу человека. На дырявом острове перевернутой лодки сидел мужчина, по виду старик, с буро-зелёными ногами. Пригляделись — увидели: не обувка это на нём, и не краска на ногах, а водоросли меж пальцев застряли, будто долго брёл мужик мелководьем, вот и нацеплялось всякое. Мужичок этот то и дело широко открывал рот, словно челюсть у него была выбита, и он безуспешно пытался вернуть её на место, или будто старался что-то проглотить, да так и не мог, или же просто пел, орал во всё горло, но никакого звука не слетало с его губ — как в немом кино, да и сам мужик был никакой, словно выброшенная на берег рыба, и, кстати, как рыба чешуя, блестели серебром и его волосы, совсем седые. А мать пропавшего юноши что-то заметила в незнакомце, в его фигуре, в повороте головы, и оглянувшись на мужа, прошептала с отчаянием надежды: «Это он, наш сын». — И побежала, спотыкаясь о песчаные гребни, к незнакомцу, взглянула в его лицо, в его равнодушные глаза, провела ладонью по его морщинистому лицу, нашла на ощупь примету, родинку за мочкой левого уха, и завывала от радости, осыпая лицо седого мужичка поцелуями: «Мальчик мой, мальчик мой, счастье-то какое!» И отец подбежал, обнимал этого человека, и глаза отца дрогнули от волнения.

Когда привели седого домой, нашли примету и на его теле: гоняя как-то на своём потрёпанном мотоцикле, латанном-перелатанном стареньком «Урае», парень влетел в кювет, остался жив, но сломал ребро, — и именно на том ребре родители увидели смещённое утолщение. Тогда утвердились Емельяновы: это действительно их сын. И сам он стал что-то потихоньку вспоминать, пошёл в сад-огород, встал напротив того дерева, смотрел вверх и опять широко открывал рот, словно кричал, а по-настоящему всё бесполезно, понуро побрёл в дом. Видно, сильно ранили его сердце прекрасные русалки, не зря ж так состарился и поседел он от их озорной любви.

Слух, что сын Емельяновых нашёлся, разлетелся по округе, люди приходили толпами, кто и со своим вином, поднимали чарку, радовались, хлопали найденного парня по плечу, вспоминали, каким он прежде был; дружки да подружки юности приносили фотографии, а тот только кивал и широко открывал рот. Ну и ничего, что не в себе, зато живой, и, слава Богу, родителям утешенье.

Один из прошедших, чтоб придобрить парня, — дескать, и у других в жизни тоже проблемы по самое не могу, выше крыши, — вспомнил о впустую потраченном времени: сегодня вот нырял за потерянным ледобуром, и опять без толку. Потерял он его в начале марта, когда услаждаясь последними морозными денёчками, сидел с мормышкой, — а тут льдина откололась, поплыла, рыбак лишь подхватил свой ящичек да успел на надёжный лёд перепрыгнуть; ледобур в воду и улькнул, на дно ушёл. А хороший ледобур-то, новый почти, лёгкий, титановый, — лёд, как масло режет, сам лезвие бруском правил, жаль потерю. И тут немой парень стал опять рот открывать и жестами показывать: мол, пойдёмте к реке. А все подвыпивши и интересно ж, гурьбой двинули. Пришли к реке, где примерно ледобур в воду упал, парень опять стал руками показывать — поняли, дали ему сапоги резиновые, болотные, высокие. Надел он сапоги, пошёл в воду, а как остановился, порылся в карманах старой отцовской спецовки, в которую был одет. Выскреб из карманов в ладошку что там было — хотя что там могло быть? — песок да шелуха от семечек, крошки разные, мусор в общем. Посыпал этими крошками-песчинками воду. А народ-то на берегу стоит, во все глаза таращится. И вот вокруг этих крошек-песчинок стали круги появляться, какие бывают на лужах от дождя, только никакого дождя и в прогнозах не было, а это мелкие рыбёшки клеваали песчинки снизу. Склонился парень над рыбами, рот открывает; рыбёшки замерли — и фьют во все стороны. Уже само по себе диковато, даже на нетрезвую голову, а потом ещё и занятно: стали рыбёшки у одного определённого места выныривать. Мужики скорее на моторку, и туда; и — точно, на дне в тине, — ледобур. Ну и понятно, какая реакция, обалдели все.

А в толпе Верка была, Колесникова. Та ещё заблуда отвязная, не сказать хуже, и давай при всех плакаться: дескать, вон там купалась и кольцо золотое потеряла, мужем дарёное, а муж за кольцо окрысился и развелся, судьбу изломал да охаял почём зря. Найти бы это кольцо и бывшему в zenки ткнуть, чтоб напраслину не возводил. Да и денег мужнино кольцо стоит, телевизор с приличной диагональю купить можно.

Впрочем, подружка Веркина иначе историю её пересказала. Пошли они с Веркой в обед искупнуться, жарница была, а с трассы джип свернул, навороченный, с фонарями, с музыкой, — парни городские, кричат: «Девчонки, а мы с вами, мы тоже молодые-неженатые!» И к ним в речку бегут. Верка колечко-то сняла, в кулачке сжимает, а как полез к ней парень купаться-обжиматься, кольцо и обронила. Накаталась, намиловалась с новым знакомцем, вспомнила про колечко — а нету, не наша. Ну а муж-то Веркин и до того о грешках её догадывался да и народ, особенно бабы, не без добрых людей, раскрыли глаза.

Прижалась Верка к парню — а ей, откровенно сказать, даже без преувеличения, есть чем прижаться, уж поверьте на слово — и говорит: «Найди колечко, а я всегда благодарная». Пусто уже было у парня в карманах, и на этот раз он просто постучал по воде ладонью, вежливо эдак постучал, будто в чужую дверь. И опять стали шмыгать рыбы из воды, ну и сиганула Верка в обозначенное ими место, а выскочила вся мокрая, в платице облипшем, прозрачном до соблазнительных подробностей, кольцо золотое на палец нацепила, верещит, народу хвалится. Тут и председатель голос подал. Оказывается, давно подъехал, из толпы наблюдал. Говорит парню: раз тебе масть пошла, сыщи-ка, что припрятал тут, по слухам, купец второй гильдии Парамонов, прежде чем в заграницы сбечь.

Снова зашёл парень в речку и стал теперь разгребать перед собой воду, будто землю, и опять говорил с водой, — уговаривал немым бесчувственным языком, вопил безмолвно. Но вроде как без толку. Стали уж люди позёвывать, расходиться собрались, вдруг один закричал, рукой тычет: «Вона, вижу! Да дальше, за кустами, у мостков, слепые что ли!» И, верно, вдалеке за кустами, гордо вознес над водой плавники,

как флажки полосатые или как острые лезвия, рыбы настырные, блестящие, словно нана-акулы, клином выстроились и прямоком к старым мосткам. Хотя, если честно, от старых мостков там только название да один приступок сохранились.

Народ, понятное дело, табуном туда, мальчишки — под мосток, поковырялись у опоры, у дубового кряжа, — да и выволокли сундучок не сундучок, чемодан не чемодан, а ящичек с ручкой кожаной, небольшой совсем, чёрный от времени и ракушек, трягнули, чтоб воду слить — ящик и распахнулся. А там банки стеклянные, разбитые, с ассигнациями сгнившими, ложки, вилки, подсвечники серебряные, а ещё мешочек. Из него на дно ящичка монеты, звякая, посыпались, серебряные да с дюжину золотых. Один из толпы стал находку на сотовый телефон фотографировать, ну так, на всякий случай. А председатель и давай на него голос заирать: «Ты чего, дундос, снимаешь? Дома бабу свою снимай, хоть в упаковке, хоть без, а это, можно сказать, история наша, память родного края, на неё дорогу отремонтируем, и нечего тут!»

Ну, ему в ответ: «Да сколько уж денег вбухано в эту дорогу, и всё сквозь землю!»

Тут председатель как взёлся, как взвился. «Вы, говорит, мне не предьявляйте, а то я так всем через суд предьявлю, за оскорбление достоинства при исполнении, за поругание, как говорится, чести и всякого такого, — потом свои предьявы будете на нарах сокамерникам предьявлять, понятно?»

Народ у нас, должно заметить, скромный, а если не сильно поддатый, то и вообще тихий, но наглых уважает, и в политике, и в личной жизни: скучновато без наглых-то. Кивнули все головами, однако говорят председателю: «Дай парню хоть чего-нито на память, зря что ль старался, рыб на сокровища науськивал?» И аккуратно в ящике из-под планки монетка плюгавенькая высовывалась, медная, кривая, кособокая, ржавчиной зелёной изъедена, тьфу, а не монетка.

Выскреб ногтём председатель эту монетку да чуть ноготь не сломал. Хотел её со злости подальше запульнуть, но передумал, ослабился, ткнул парню в карман спецовки: «На, вспоминай!» А сам ящичек со всей личностью хватъ, в багажник — и как ветром председателя сдуло, умо-тал по своим начальским делам. Ушлый, жучило.

Парень же, воротясь домой, взял решительно бензопилу «Дружбу», пошёл к дереву. Отец следом бежит: «Погоди, сынок, может, я сам слазию, посмотрю, как там-чего, потолкую с девчонками? Девчонки ж стариков-то уважают». Но сын потнул головой упрямо, и пришлось отцу только с соседом договариваться. Тот не в можжах был, рукой махнул: «Бутылку — и пилите...» Выбил сын ногой несколько заборных досок, сунул в прогал бензопилу, запустил, врезался ею в древесину, — и как будто что-то вскрикнуло наверху, а может, это из-за визга пилы показалось, но рухнуло дерево, — и ничего особенного, дерево как дерево. Зато парень на глазах изменился, помолодел: ни седины, ни морщин не осталось, даже слова стал вспоминать, пиная с гневом дерево поверженное — поначалу, правда, не самые приличные, скажем прямо, просто непотребные, — но потом, поманеньку и весь словарный запас восстановился.

Опять же, и матери новая радость: сбегала к соседям, там мальчишки как раз рыбку свежую наловили, два кукана увесистых, до земли, щедро на уху дали, лучшую выбрали. Сварила мать ушицу с приправами, знатную, ароматную, какую только она одна и умела, сели семейным кружком, снова праздник, отец гармонь дедову достал, растянул меха, стали под водочку вместе с сыном песни вспоминать, и про золотые горы, и про степь кругом, и разное. Но слышат в перерыве стук какой-то, и не в дверь, не с улицы, а вроде как в доме, под столом, похоже. Приподняли скатерть клеёнчатую — там на полу отрезанный рыбий хвост кровянится, о половицы бьётся, извивается, плавником оранжевым шлёпает.

Видно, мать, когда уху-то готовила, с волнения выронила, не заметила. Поддержался, подёргался хвост-обрубок, наследив сырими пятнами, да и затих, угомонился...

Парень, зрелище это увидев, припух было, захмурил-закручинился, но после очередной чарки забылось всякое дурное, ещё громче песни полились по дому, через форточку — и по улице, по склонам с яблоневыми садами, широкие песни, душевные, и уж на что в посёлке полно собак брехливых, лаистых, которым бы морды бинтом замотать и развязывать только для кормёжки, но и те попритихли, заслушались: душевное и собаки понимают.

А у Верки хоть главные полушария не в мозгу вовсе, а сами понимаете, где, — но не зря втихую бодряжным винцом приторговывала, — насчёт барыша не дура. Охмурила, округила парня на почве женской взаимности, дудит в уши: «Тема есть: бабло хоть в кадлушках соли! Я в интернете про моря-окияны прознаю, где всякие сокровища потерялись, ну там пиратские или с кораблей утопших, ты их найдёшь своими рыбами заговорёнными, а я тебя дома под одеяльцем ждать буду, телом своим постельку согрею, а денежку — напополам». Вцепилась, как блоха в кобелька, однако судьба спасла парня и от этой напасти: оказалось, не только Верка на него глаз положила, но и родной военкомат. Раз, говорят, ты парень опять молодой-здоровый, то ждут тебя волнительный марш «Прощание славянки» и сплочённые ряды нашей доблестной и непобедимой. И вышел Верке не шик, а пшик, наклюнулось, да не обрыбилось, и раз такие дела, другого хახеля завела. Век живи, а селяви!

Отслужил парень чин чином, с ефрейторскими лычками в дембельском альбоме, но под конец службы случился эпизод: бежали по крутому берегу марш-бросок с полной выкладкой, в противогазах, как мамонты чумовые, и один из отделения уронил в воду прибор химразведки, ВПХР, — не автомат, конечно, а всё одно, табельное имущество, у прапора в описи. Естественно, захотелось товарищу пособить, и заходил Емельянов-младший в воду, в холодную, и кричал на неё по-немому, чем немало товарищей своих встревожил и беспокоил. Но никакие рыбы на этот раз не помогли, не нашли прибор, да даже и не высунулись на крики. Впрочем, могли ещё и потому не высунуться, что недавно именно в этом месте прапорщики тайком от начальства рыбку ловили, на динамит.

Ну пропал дар и пропал, и что? Парень-то и сам с головой, с руками, устроился в СМУ, на автогрейдере работает, на доске почёта, премия регулярно. Семейная жизнь тоже сладилась: женился на хорошей, скромной девушке, скоро ребёночка родят, все намёки на то.

А вот ящик купецкий, когда фотка его в интернете засветилась, будто заново раскрылся, аукнулся. Приезжали на машинах хмыри в кожаных оттопыренных, не из местных, залётные, выспрашивали, кто последний в руках держал ящик с монетами, из интернета. Народ плечами пожимал, мол, без понятия, но председателя, из сердоболия, предупредили, и он засуетился, вызвал полицию, и отогнали от посёлка шпану залётную.

Только председателю общественное внимание — нож к горлу, даром не надо, залёг, затаился кабанчиком в хоромаш своих неправедных, авось, забудут. Не забыли, вспомнили в надлежащих органах, сверясь с интернетом: что государству сдал из клада купеческого? Гнилой футляр с рукояткой, банки битые да дензнаки бумажные? А остальное-то где, монеты, серебряные да золотые, обратно в речку бросил? Или заныкал? Копнули прежние его делишки — и там дебит с кредитом ни одним углом не сходятся. Попал! Как муха меж окон, попал.

И отправили председателя в казённой фуфаечке автозаком, куда Макар телят точно не гонял, потому как места те глухие, проволокой колючей многократ огорожены, а на вышках — стрелки не промах, маются, затворы передёргивают. Обманула удача: взмывала вверх орлом блестящим, а плюхнулась решкой унылой, да прямо в лагерную слякоть.

И совсем хватил бы председателя удар или сам бы со злости тюкнулся головой бедовой о решётку тюремную, а то и что б похуже над собой сотворил, узнай он, что раздербанив купецкий ящичек, лопухнулся, не то хапнул, не главное. А главное — рядом лежало, да убежало: монетка плёвая, неказистая, зряшная мелочь медная, которая по его же дурацкой прихоти перекочевала в карман немого парня да в прорехе, в складках и затерялась. Именно за ней со всем почтением приезжала делегация к Емельяновым; принимали от них монету под росписи на многих листах, укладывали белыми перчатками в футляр, на подкладку бархатную, опечатывали при свидетелях сургучом и пломбами. Ибо, — вот ещё хорошее, подходящее слово, капитальное, как скрепа стены, как обруч на бочку, — ибо монетка эта, по учёному разумению (а как-то они там на снимке всё умудрились разглядеть), — была чеканена на пробу царственным вором Лжедмитрием, Гришкой Отрепьевым, в количестве не более и не менее, а будто бы ровно одна штука, для истории важная до невозможности, недостающее, так сказать, звено и потому цены непомерной. И ежели догадка подтвердится, ждёт Емельяновых вознаграждение, — даже называть не стоит, какое вознаграждение, чтоб не слазить. Вот так вот.

Последнее время часто приезжают всякие в посёлок, понаслышавшись. Перво-наперво к Емельяновым в сад-огород идут, сквозь щели в заборе на пенёк пялятся, репу морщат, умничают. Не иначе, говорят, природная аномалия. Ага, как же, аномалия! У них у самих природная аномалия, с самого рождения, прямо в голове, раз своими собственными глазами смотрят, а не видят. Пеньков всяких, и вокруг, и в лесах — тьма несметная, и все — или плотные, или трухлявые. А у этого и срез зелёный, как болотина, сырой, и натурально водоросли растут, слизью свисают.

Нет, конечно, каждый сам себе решает, верить, не верить, его право. Но вот вам ещё факт-аргумент. У нас в посёлке служивый один живёт, побывал в горячей точке, пальцев на руке не хватает, взрывом оторвало; немолодой уже, ну и типа ревматизм, в госпиталях лечится. И вот, говорит, пальцы эти, которых уж нет давно, вроде тоже как шевелятся, даже болят. Пальцев нет, а рука их чувствует, понимаете?

И с этим пеньком похожее дело. Если на рассвете, а ещё лучше ночью, подойти к пеньку да постоять, прислушаться — услышишь сверху, под Луной, под звёздами, и шелест листвы, и озорной девичий смех. Чистая правда! Хотя, может, и нечистая...

Через тусклую раскатистую дорогу, выбитую копытами и зализанную полозьями саней, потекли, змеясь, серебристые ручьи позёмки, шевельнулись на макушках сугробов седые космы, вытягиваясь по ветру.